

Петербург

Октябрь 1869 года. По петербургской улице, лежащей невдалеке от Сенного рынка, медленно едут дрожки. Перед высоким доходным домом извозчик натягивает вожжи.

Сидящий в дрожках господин с сомнением оглядывает дом.

— Ты уверен, что это здесь? — спрашивает он.

— Шестьдесят третий номер по Свечной, как приказывали-с.

Господин соступает на мостовую. Это человек на исходе средних лет, бородатый, сутулый; высокий лоб и густые брови сообщают ему выражение спокойное и сосредоточенное. На нем темный сюртук несколько старомодного покроя.

— Подожди меня, — говорит он извозчику.

За ободранными, облупившимися фасадами старых домов в окрестностях Сенной еще сохраняются остатки прежней изысканности, хоть большей частью дома эти вмещают теперь меблированные комнаты, сдаваемые мелким чиновникам, студентам и мастеровым. В проемах между домами выросли, местами стена в стену, кривоватые деревянные постройки этажа где в два, где в три — муравейники комнат, комнаток, комнатушек, в которых ютится самая жалкая беднота.

Такие вот строения и подпирают с обоих боков шестьдесят третий номер, дом из старых. Паутина балок и подпорок пересекает посередке его фасад, отчего дом кажется взятым деревянными строениями в плен. Птицы понавили гнезд в изгибах его пилястров, запятнав пометом фасад.

Несколько ребятишек, забравшихся на подпорки, чтобы кидать оттуда камни в уличные лужи и затем, спрыгивая на мостовую, подбирать их, прерывают игру и разглядывают чужака. Трое из них, те, что поменьше, — мальчишки, четвертая, видимо, главная, — девочка со светлыми волосами и замечательно темными глазами.

— Добрый вечер, — говорит он детям. — Не знает ли кто из вас, где проживает Анна Сергеевна Коленкина?

Мальчишки не отвечают, смотрят насупленно, неприступно. Девочка же, поколебавшись, раскрывает, роняя камни, ладонь.

— Идемте, — говорит она.

На третьем этаже шестьдесят третьего номера прямо с лестничной площадки открывается длинный проход. Следуя за девочкой, господин идет темным, кривым, пропахшим капустой и вареной говядиной коридором мимо открытых дверей уборных к двери закрытой, выкрашенной в серую краску. Девочка пинком растворяет ее.

Они попадают в длинную, низкую комнату с тусклым светом из единственного окна, пробитого в стене на высоте головы. Тяжелые, как бы парчовые обои на длинной стене словно усугубляют мрак. Женщина в черном встает, пово-

рачиваясь к нему. Ей за тридцать, те же темные глаза и густые брови, что у девочки, только волосы черные.

— Простите, что вхожу к вам так, без доклада, — говорит он. — Мое имя... — Он колеблется. — Сколько я знаю, сын мой был вашим жильцом.

Он извлекает из чемодана нечто, обернутое в белую салфетку, разворачивает. Это портрет мальчика, дагерротип в серебряной рамке.

— Здесь его можно узнать, — говорит он, не давая портрета ей в руки.

— Это Павел Александрович, мама, — шепчет девочка.

— Да, он снимал у нас комнату, — говорит женщина. — Мне очень жаль.

Наступает неловкое молчание.

— Он жил у нас с апреля, — продолжает она. — Вещи его так и остались в комнате, мы ничего не трогали, полиция только забрала кое-что. Желаете взглянуть?

— Да, — хрипло отвечает он. — Если сын вам задолжал, я, разумеется, заплачу.

В комнате сына, хоть это, в сущности говоря, клетушка, отгороженная от остальных жилых покоев, имеется собственный вход и глядящее на улицу окно. Кровать опрятно застлана; что до иной обстановки, она состоит из комода, стола с лампой и стула. В изножье кровати лежит чемодан с тисненными инициалами П. А. И. Чемодан знакомый — он сам подарил его Павлу.

Он подходит к окну, выглядывает. Дрожки так и стоят на улице.

— Не окажешь ли любезность? — обращается он к девочке. — Скажи извозчику, пусть едет, и заплати ему.

Девочка берет у него деньги и уходит.

— Если вы не против, я хотел бы побыть здесь один, — говорит он женщине.

Дождавшись, пока она выйдет, он первым делом откидывает на постели покрывало. Простыни свежие. Он опускается на колени и зарывается в подушку лицом — нет, ничего, только запах мыла и солнца. Он выдвигает ящики комода один за другим. В ящиках пусто.

Он снимает с кровати чемодан. Поверх прочих вещей в нем лежит старательно сложенная белая сюртучная пара. Он прижимается к ней лбом. И наконец улавливает чуть слышный запах сына. Он впивает этот запах, думая: дух сына, войди в меня.

Придвинув к окну стул, он садится и сидит, глядя на улицу. Наступили сумерки, темнеет. Улица пустынна. Время тянется, мысли его остаются недвижимыми. *Думы* — вот самое верное слово, приходит ему в голову. Тяжесть в голове, тяжесть в глазах — точно свинец налили в душу.

Женщина, Анна Сергеевна, и дочь ее ужинают, сидя за столом против друг дружки, между ними стоит лампа. Когда он входит, обе замолкают.

— Вам известно, кто я? — спрашивает он.

Она поднимает на него взгляд, ожидая продолжения.

— Я хочу сказать, знаете ли вы, что я не Исаев?

— Да, Павел рассказал нам свою историю.

— Прошу вас, ужинайте, не обращайтесь на меня внимания. Вы позволите оставить пока чемодан у

вас? Я заплачу до конца месяца. Собственно, я, с вашего разрешения, заплачу до конца ноября. Я хочу сохранить комнату за собой, если она никому не обещана.

Он протягивает ей деньги, двадцать рублей.

— Вы не станете возражать, если я буду по временам заходить к вам под вечер? Днем кто-нибудь дома бывает?

Она мнетя. Обменивается взглядом с девочкой. Уже, подозревает он, появилась у нее задняя мысль. Конечно, лучше будет, если он заберет чемодан и больше у них не появится, тогда и о мертвом постояльце можно будет забыть и комната освободится. К чему ей этот скорбный человек, словно бы источающий мрак? Ан поздно — деньги были предложены ей и ею приняты.

— Матреша после полудня дома, — негромко произносит она. — Я дам вам ключ. Только, я вас попрошу, проходите туда через отдельный вход. Дверь между комнатой жильца и нашей не запирается, но мы ею обычно не пользуемся.

— Прошу извинить. Я не подумал об этом.

Матрена. С час примерно он бродит по знакомым улицам Сенного околотка. Потом, перейдя Кокушкин мост, возвращается в трактир, где еще утром занял комнату, назвавшись Исаевым.

Голода он не испытывает. Не раздеваясь, ложится, скрещивает на груди руки и пытается заснуть. Но мысли его упрямо возвращаются в шестьдесят третий номер, в комнату сына. Занавески раздернуты. Луна освещает постель. Вот он, стоит, трудно дыша, у двери, не отрывая глаз от стула в углу, ожидая, когда мрак сгустится, обратясь во мрак иного рода — мрак присутствия.

Он шепотом повторяет имя сына, стараясь заклясть его. Но кого — призрак, себя самого? На ум приходит Орфей, шаг за шагом отступающий пятясь, шепчущий имя умершей женщины, которую он выманивает из глубин ада; имя жены в погребальных одеждах, идущей, выставив перед собою, точно сомнамбула, вялые руки и не отрывая от него мертвых, невидящих глаз. Ни флейты, ни лиры, только слово, одно только слово, повторяемое раз за разом. Когда смерть разрешает от всех уз, остается лишь имя. Крещение: совокупление души с именем, которое она понесет с собой в вечность. Едва дыша, он снова складывает слоги: «Павел».

Голова начинает кружиться.

— Я сейчас пойду, — шепчет он, или ему кажется, что шепчет. — Но я вернусь.

«Я вернусь» — обещание, данное им, когда он впервые отвез мальчика в школу. «Я тебя не брошу». И бросил.

Он засыпает. Во сне он летит вдоль долгого-долгого водопада в омут и отдается падению.

2

Кладбище

Они встречаются на переправе. Он раздражается, увидев в руках Матрены цветы. Цветы маленькие, белые, скромные. Были ль у Павла любимые цветы, он не знает, но розы, чего бы ни стоили они в октябре, алые, как кровь, розы — вот самое меньшее, чего заслуживает его сын.

— Я подумала, что мы сможем их посадить, — говорит женщина, словно прочитав его мысли. —

Вот, и совок с собой взяла. Это лядвенец, он цветет поздно.

Действительно, видит он, корни цветов обернуты влажной тряпицей.

Маленький паром перевозит их на Елагин, которого он не посещал уже много лет. Две старухи в черном да они — вот и все пассажиры. День стоит холодный, мгlistый. При их приближении по пристани принимается, поскуливая, метаться туда-сюда седой искалеченный пес. Паромщик замахивается на него багром, и пес отбегает на безопасное расстояние. Собачий остров, думает он; не целые ли стаи их кроются между деревьев, ожидая, когда удалятся скорбящие, чтобы можно было разрыть еще мягкую землю?

В сторожку привратника заходит для наведения справок Анна Сергеевна, которую он все еще зовет про себя квартирной хозяйкой, — сам он ожидает снаружи. Потом они долго идут по аллеям мертвых. Он начинает плакать. Почему именно сейчас? — думает он, сердясь на себя. И все же он, пожалуй, рад слезам, их мягкая пелена отделяет его от внешнего мира.

— Вот здесь, мама! — окликает Матрена.

Перед ними могильный холмик, один из многих холмиков с воткнутыми в них крестами из колышков, к которым прибиты дощечки с написанными краской номерами. Он пытается сосредоточиться на одном-единственном номере, на *его* номере, но, едва завидев эти семерки и четверки, ловит себя на мысли: «Никогда больше не стану ставить на семь».

Вот самая та минута, когда ему следует пасть на землю ниц. Но все происходит так вдруг, и земля-

ной холмик этот выглядит настолько чужим, что сердце его не отзывается никаким содроганием чувств. Да и не питает он доверия к череде безразличных рук, через которые прошло тело его сына, пока сам он был еще в Дрездене и ведать ни о чем не ведал, точно баран. Он не готов пока принять роковую связь юноши, продолжающего жить в его памяти, с именем на свидетельстве о смерти и с этим вот номером на дощечке. *Преходящие*, думает он: окончательных, верных номеров не бывает, все преходящие, иначе игра давно бы закончилась. А так колесо крутится, номера приходят в движение, все снова будет хорошо.

Объемом и даже очертаниями холмик схож с лежащим навзничь телом. Он, собственно, и состоит не из чего иного, как из сырой земли, вытесненной деревянным ящиком с рослым молодым человеком внутри. Что-то такое есть в этом, чего он не способен додумать, что-то отталкивающее от себя. Мысль эту замешают саднящие воспоминания о том, чем он занимался в Дрездене, в то время как здесь, в Петербурге, бесчувственное тело тащили в морг, нумеровали, забивали в ящик, везли по городу, опускали в землю. Почему в дрезденском воздухе не явилось и тени предвестия? Или должно погибнуть толпам, прежде чем небеса содрогнутся?

На одной из картин, вновь нахлынувших на него, — он сам в ванной комнате на Лерхенштрассе, подстригающий, глядя в зеркало, бороду. Мерцают латунные краны умывальника, лицо поглощенного делом человека в зеркале кажется лицом незнакомца из прошлого. Вот я и постарел, думает он. Приговор был уже вынесен, и отправленное

мне письменное уведомление о нем все приближалось, переходя из рук в руки, да только я ничего о том не знал. «Радость жизни твоей позади» — вот что значилось в приговоре.

«Квартирная хозяйка» выкапывает маленькую лунку в изножье холмика.

— Позвольте, — говорит он, взмахивая рукой, и она отступает.

Расстегивая пальто, расстегивая сюртук, он опускается на колени и неловко клонится вперед, пока не ложится ничком на землю, вытянув руки над головой. Теперь он плачет безудержно, из носу у него течет. Он трется лицом о мокрую землю, зарываясь в нее.

Когда он поднимается, земля остается в его бороде, в бровях, в волосах. Девочка, на которую он не обращает внимания, изумленно глядит на него. Он отряхивает лицо, сморкается, застегивается. Что за жидовский спектакль! — думает он. Да пусть ее смотрит! Пусть видит, что человек не камень! Пусть знает, что нет у него предела!

Некая искра пролетает из его глаз в ее; она в замешательстве отворачивается, прижимается к матери. Назад, в гнездышко! Страшная злоба изливается из него на все живое, а всего пуще на живых детей. Если бы здесь случился сейчас новорожденный младенец, он вырвал бы его из материнских рук и размозил голову его о камень. Ирод, думает он: как я понимаю Ирода! Да истребится всякий род!

Он поворачивается к ним спиной и уходит. Скоро, оказавшись за пределами новой части кладбища, он бродит между старых надгробий, среди давних мертвецов.

Когда он возвращается, цветы уже посажены.

— И кто станет за ними ухаживать? — угрюмо спрашивает он.

Женщина пожимает плечами. Не ей отвечать на этот вопрос. Теперь его черед, это он должен сказать: «Я буду приходить сюда каждый день», или: «Бог о них позаботится», или же: «Никто за ними ухаживать не станет, они погибнут, и пусть их гибнут».

Мелкие белые цветочки весело колышутся на ветру.

Он стискивает руку женщины.

— Его здесь нет, нет, — говорит он, и голос его ломается.

— Конечно, нет, ведь он не умер, Федор Михайлович.

Тон ее будничен, ободряющ. Более того, в эту минуту она полна материнских чувств не только к дочери, но и к нему, и к Павлу.

Руки у нее маленькие, пальцы тонки и кажутся детскими, но тело округлое. Нелепо — он рад был бы склонить голову к ней на грудь, ощутить эти пальцы в своих волосах.

Невинность рук, вечно рождающаяся заново. Мелькает воспоминание: прикосновение руки, такое интимное в темноте. Но чьей? На свет дневной руки являются, как животные, без стыда, без воспоминаний.

— Я должен записать номер, — говорит он, избегая ее взгляда.

— У меня записан.

Откуда вдруг взялось вожеление? Острое, пылкое: ему хочется схватить эту женщину, заво-

лочь ее за сторожку привратника, задрать ей подол и совокупиться с нею.

Он думает о том, как на поминках люди накидываются на еду и вино. В своем роде восторг, бахвальство пред лицом смерти: что, нас-то не получила!

Они возвращаются к пристани. Пес с опаской — за ними. Матрена хочет его приласкать, но мать ей запрещает. Что-то неладное с этим псом: по спине идут от хвоста открытые, воспаленные язвы. Время от времени пес тихо повизгивает или вдруг садится и вгрызается в струпья.

Завтра я ворочусь, обещает он, приду один, мы поговорим. В мысли о возвращении, о том, как он переправится через реку, отыщет дорогу к могиле сына и останется наедине с ним в тумане, таится глухое обещание приключения.

3

Павел

Он сидит в комнате сына, разложив на коленях белую пару, тихо дыша, стараясь освободиться от себя, стараясь вызвать дух сына, определенно еще не покинувший этих пределов.

Проходит время. Из смежной комнаты доносятся сквозь перегородку приглушенные голоса женщины и девочки, звуки, указывающие, что там накрывают на стол. Он откладывает сюртучную пару, легонько стучает в дверь. Голоса обрываются. Он входит.

— Я сейчас пойду, — говорит он.